

ТРИ ОЧЕРКА О КОНСТАНТИНЕ ЛЕОНТЬЕВЕ

(Составление, подготовка текстов и комментарии О. Л. Фетисенко)

В эту небольшую подборку включены никогда не переиздававшиеся мемуарные очерки о русском писателе и мыслителе Константине Николаевиче Леонтьеве (1831–1891), окончившем жизнь в тайном монашеском постриге с именем Климент. Первые два произведения написаны сразу после его смерти – в ноябре 1891 г. и феврале 1892-го и были опубликованы в газете «Гражданин», многолетним сотрудником которой был Леонтьев, третий очерк появился в журнале, возглавляемом тогда одним из учеников Леонтьева, Анатолием Александровым. Оказавшись рядом, эти тексты дают довольно объемное представление о последних годах жизни писателя, напоминают о важнейших биографических подробностях предшествующих лет, об основных составляющих леонтьевского мировоззрения, его привычках и вкусах. Именно поэтому все три мемуарных очерка размещены в разделе газетных материалов.

Тексты Леонтьева приводятся в комментариях по изданию: *Леонтьев К. Н.* Полн. собр. соч. и писем: В 12 т. / Подгот. текстов и коммент. В. А. Котельникова и О. Л. Фетисенко. СПб., 2000 – издание продолжается. Далее сокращенно: *Леонтьев*.

П. Райский <И. И. Кольшко>

ПОЭТ-ВОИН

Почивший недавно в Троице-Сергиевой лавре К. Н. Леонтьев принадлежал к редкому, в наше время, типу мыслителей-художников, в жизни и в трудах своих проявивших много оригинальности и самобытности. Начав мыслить и творить под влиянием корифеев эпохи 60-х годов, он, достигнув полной зрелости, вступил на свой собственный путь, с которого уже не сходил до могилы. Путь этот, хотя и шел в одном направлении с путями, намеченными этими корифеями, тем не менее не равнялся слепо с ними, а часто уклонялся и даже сталкивался. Блестящее и разнообразное дарование покойного, подвижность его натуры и необыкновенная душевная свежесть никак не давали ему улечься в определенные рамки, стать или публицистом, или беллетристом, или

критиком, или философом, или богословом. Ему мало было одной из этих арен, – ему надо было всё вместе. Как бы не признавая специализации таланта, он жаждал проявить свой на всех поприщах умственного труда и в одинаковой силе.

Мне было едва 20 лет, и я был свежеспеченным корнетом, когда я впервые встретил этого блестящего оригинала. Сухой, жилистый, нервный, с искрящимися как у юноши глазами, он обращал внимание и этой внешностью своей, и молодым, звонким голосом, и резкими, не всегда грациозными движениями. Ему никак нельзя было дать его 50-ти лет. Он говорил, или, вернее, импровизировал, о чем – не помню. Вслушиваясь в музыку его красивого ораторского слога и увлекаясь его увлечением, я едва успевал следить за скачками его беспокойной, как молния сверкавшей и извивавшейся, мысли. Она как бы не вмещалась в нем, не слушалась его, загораясь пожаром то там, то сям и освещая далекие темные горизонты в местах, где менее всего ее можно было ожидать. Это была целая буря, ураган, порабощавший слушателей.

Мне даже показалось, что он рисуется, играет своим обаянием; но не слушать его я не мог, как не мог не поражаться его огромной силой логики, огненностью воображения и чем-то еще особенным, что не зависело ни от ума его, ни от красноречия, но что было, пожалуй, сильнее того и другого. Много позже, когда я стал серьезнее и познакомился с ним ближе, я понял, что это *что-то* составляло именно ту черту покойного, которая делала его в глазах одних – оригиналом, других – чудачком, третьих – обаятельным и даже импонирующим. К числу последних принадлежу и я. Это что-то я иначе не могу назвать, как – благородной воинственностью его духа и блестящей храбростью ума.

Храбрость ума и печатного слова – явление не редкое и не новое в наши дни.

С тех пор, как Писарев обозвал Пушкина дураком, как творения Тургенева обзывались сентиментальными и кисейными, а «Анна Каренина» получила прозвище «барского» романа с тупым и бело-костным героем (Вронским), – с тех пор литературная храбрость проявлялась многократно и во всех возможных видах, включительно до фантастических фельетонов графа Алексиса Жасминова, с его окоченной поэмой «Хвост» и неоконченной – «Дело об утоплении Юзи Пшепендовской в речке Клизопомповке». Но этого рода храбростью покойный К. Н. Леонтьев не обладал. Его храбрость была чиста и изящна, как храбрость солдата, штурмующего крепость с сильнейшим неприятелем; так же беззаветна и так же безусловна и отважна, как эта последняя. Общественное мнение, общественные вкусы и идеалы, общественное (русское) самосознание – вот тот сильнейший неприятель, с которым покойный воевал долго и усердно, всегда оставаясь приличным и великодушным, уважая и щадя чужую мысль и чужой труд, но не устывая бороться с ними до самой последней минуты. Бросаясь самоотверженно против течения и рискуя быть смытым им, он успевал, однако, силою своего таланта, подставить то там, то здесь солидный камешек, который хотя не останавливал течения, но изменял его, разнообразил, пробуждал от сонного, по инерции, движения. Камни эти, ничтожные пока, со временем могут послужить основой прочной плотины. Становясь на них, покойный глядел высоко через головы современников, видел и смело пророчествовал то, что большинству казалось утопией, но что никто не мог бы назвать нечеловечным и непатриотичным. Вот этой-то блестящей, неожиданной, но всегда изящной и великодушной храбрости, – говорил ли он о политике, религиях или художествах, – этой храбрости чувств, мыслей, слога, форм, образов и убеждений в К. Н. Леонтьеве была бездна.

Натура его, как и всякая истинно талантливая, казалась иногда непоследовательной и порывистой; во вкусах, выработанных суровой

школой жизни, проявлялась страстность и возвышенный аскетизм. Уже будучи монахом, он, где мог и как мог, проявлял свои симпатии к военному быту и военному сословию, начиная от громкого одобрения войны, с ее лишениями и страданиями, кончая ношением грубых солдатских сапог. Сегодня он описывал святую жизнь Оптинского старца Амвросия, умиляясь его кротостью и любовью к ближнему, а завтра находил, что только война может очистить наши мысли, нравы и вкусы, только в ней национальный рост и сплочение государства. И при этом никакого противоречия в нем не было – крайности уживались вместе, друг друга дополняя, возвышая и очищая.

Держа в одной руке перо, в другой меч, а в сердце неся крест христианского смирения и гордость сына великой Руси, он проповедовал и животворящую кротость, и грядущую славу оружия его родины, и всемирную революцию, и соблюдение чистоты стиля и подлинности веяния в искусстве. Странная, непонятная на первый взгляд личность! Душа – Скобелева, сердце – Минина, нервы – 19-го века, а ум – блестящего философа-художника эпохи Возрождения. Родись он французом или немцем, – его бы сделали или гением, или... сумасшедшим. У нас он не стал ни тем, ни другим, пользуясь популярностью только в узком кружке почитателей, между которыми, однако, больше молодежи, чем его сверстников. Последнее обстоятельство, по-моему, знаменательно.

В одном из писем своих ко мне он говорит:

«Вы называете годы Вашей военной жизни “худшими”. Неужели же общество литераторов вообще лучше? Не знаю! Я был в 2-х гимназиях, был 1 год в дворянском полку; был студентом-медиком; был во время войны военным врачом и жил неотлучно с военными в течение 3-х лет;

жил и помещичьей жизнью; был консулом в Турции; имел связи и в высшем кругу, а последние 20 лет нахожусь в тесных сношениях с монахами; знал, конечно, мимоходом и кружки ученых, и литераторов, и совершенно согласен с Л. Толстым, что общество последних – хуже всего. Не знаю, как понимает свое чувство Толстой, но я *свое* понимаю вот как: общество людей “книжных” не тем хуже, что оно безнравственнее других, – неправда! Пожалуй, что оно даже и нравственнее; но оно всех *неестественнее*, и в нем менее, чем где-либо, живой, непосредственной поэзии. Я это чувствовал еще смолоду; и несмотря на то, что, будучи студентом в Москве (в 50-х годах), пользовался покровительством Тургенева и благосклонностью гр<афа> Салиаса, Грановского, Каткова, Кудрявцева и других, с восторгом убежал от них в Крым, в военные больницы и в общество донских казаков, с которыми долго служил в степи на аванпостах. И до сих пор все московское (того времени) и все студенческое представляется мне болезненным и скучным, тяжелым для души, а все крымское, военное – здоровым, веселым и развивающим душевные силы...

Вы говорите, что современная общественная жизнь течет слишком сонно и дает мало “нового”. Боже мой! *На каждом* шагу! Жизнь наша после реформ стала несравненно разнообразнее, богаче, шире. Реформам я не сочувствую, ибо, как Вы знаете, считаю их прямо разрушительными и не знаю, *выздоровеет* ли от них Россия. Но это вопрос *вековой*, политический, социальный. *Толчок* же, данный ими жизни во *всецелости* ее, для романиста выгоден. Жизнь стала пестрее, умнее, содержательнее; консерватизм и реакция 70-х и 80-х годов несравненно умнее и глубже консерватизма 40-х годов, а религиозность в образованной среде, если она проявляется, то уж в сто раз глубже, тверже и тоньше, чем при Филарете и Николае I; тогда религиозность была только дорогой привычкой, не доросшей до духа времени, теперь она является страстью, пересилившей

этот дух времени. И т. д., и т. д. Вы, видимо, слишком еще под влиянием наших знаменитостей. Надо их всех бросить и смотреть на жизнь своими глазами...»

Мне кажется, что в этих нескольких строках лежит объяснение тому, почему «обаяние» покойного простиралось более на молодежь, чем на сверстников его. Он более любил эту молодежь, видя в ней более искренности и непосредственной поэзии, дающейся не умом, не образованностью, не начитанностью и даже не талантом, а лишь простым, непосредственным отношением к жизни, ее страданиям и радостям. Люди пера, при всей совокупности их личных достоинств, при всем подъеме их нравственных сил, не могут проявлять в жизни столько поэзии и не могут быть столь натуральными, как, напр<имер>, армейский офицер на военном биваке, потому уже, что вся их внутренняя работа сосредоточена, концентрирована в себе и уходит на изображение образов, ими задуманных; образы же живые, рядом стоящие, для них только – модели, типы, равно как и единичные, будничные факты; к ним они подходят не непосредственно, а сквозь призму своего я, в котором, может быть, много искренности и поэзии, но много и скептицизма, тщеславия, самоуверенности и литературной черствости.

К. Н. Леонтьев не принадлежал к тем слепым поклонникам «знаменитостей» 60-х и 70-х годов, которые (поклонники), излив весь запас своих восторгов и критического вдохновения на восхваление произведений этих «знаменитостей», на долю произведения молодых современных авторов не находят в уме и в сердце своем ничего, кроме одного однообразного и часто злобного порицания. Далеко нет!

Его ум обладал всеми свойствами критического ума, его перо было едко, но его влияние всегда было благотворно. Леонтьевская критика была смела, гораздо смелее многих из самых читаемых и популярных между нами; но она всегда была изящна, тонка, она не давила всей пятерней, а

резала, как искусный резец, осторожно обегая все здоровое, свежее и глубоко вонзаясь в самую глубь испорченного, больного места. Вот почему даже самый строгий приговор его оставлял в душе более смелости, бодрости и охоты к труду, чем самая высокая похвала некоторых из современных патентованных литературных судей, признающих имеющим право на существование только то, что принадлежит к их кружку и их знамени. Об этой стороне личности покойного можно бы сказать еще многое, но это многое будет понято лишь немногими.

Любовь К. Н. к молодежи объяснялась, между прочим, еще тем, что она (молодежь) имела больше шансов увидеть хоть *начало* этой новой и истинно русской эры в политической, религиозной и эстетической жизни России, в которую он сам слепо верил, но дождаться которой не надеялся. В чем должна состоять эта эра – видно из его произведений, вошедших и не вошедших в сборник «Восток, славянство и Россия», коего 2-й том он собирался издать перед самой смертью.

—

Не входя в оценку справедливости его взглядов и пророчеств, равно как его политических и литературных заслуг перед Россией, которую он так горячо любил, я хочу лишь констатировать оригинальность и самобытность этого «поэта-воина», преклонявшегося прежде всего и более всего перед тем, что сильно, молодо и поэтично, и перед теми, кто за «родину и веру» готовы положить свой живот. Личность эта или опередила, или отстала от нашего века, но никак не подходила к его аккуратной «гуманитарно-эгалитарной» рамке, не подчинялась его рутине, вкусам, кумирам. Старея годами, она всё молодела душой, идеалами и верой. Главное – верой. Вера эта (религиозная и политическая), равно как и его художественные вкусы и требования, с годами всё более возвышались в К. Н. Леонтьеве, очищаясь от всякого наносного, чужого,

приобретенного личной жизнью и тем влиянием, которое он испытывал в молодости.

Трудясь последние годы в затворничестве и уже равнодушный к успеху и к славе, он создал несколько произведений, где эта вера его и эти вкусы поднялись высоко над требованиями и вкусами современного общества, опередив его развитие на пол-, а может, и на целый век. Таковы его: «Национальная политика как орудие всемирной революции» и критико-философский этюд «Анализ, стиль и веяние». Оба эти произведения, как и следовало ожидать, прошли у нас совершенно незамеченными; но оба они, когда настанет время, будут вновь перечитаны и лучше поняты, а имени их автора отведется место среди великих патриотов родины и редких по чутью художников.

Заканчивая этим мои воспоминания о «поэте-воине», о друге юношества и увлеченном ценителе всего, что молодо, смело и поэтично, приведу здесь только две-три фразы из его последнего критико-философского этюда, составившего плод размышлений и чувств целой жизни его:

...«Великая заслуга “Войны и Мира” та, что там трагизм – трезвый, здоровый, не уродливый, как у стольких других мыслителей наших (Достоевского, напр<имер>), трагизм “Войны и Мира” полезен: он располагает к *военному* героизму за родину»...

...«Историческая, или, точнее сказать, прямо политическая заслуга автора “Войны и Мира” – огромна. Многие ли у нас думали о 12-м годе, когда он так великолепно, неизгладимо напомнил об нем? Весьма немногие! И, несмотря на то, что граф довольно “тенденциозно” и *тео-филантропически* порицает войну то сам, то устами доброго, но вечно растерянного Пьера, он все-таки до того правдивый художник, что читателю очень легко ни его самого, ни Пьера не послушаться и продолжать взирать на войну как на одно из *высших, идеальных*

проявлений жизни на земле, несмотря на все частные бедствия, ею причиняемые. (Бедствия, постоянно, – заметим кстати, – сопряженные и с такими особыми радостями, которых мир не дает)...»

«...Я люблю, я обожаю даже “Войну и Мир” за то, наконец, что лучший и высший из героев поэмы – князь Андрей – не профессор и не оратор, а изящный *храбрый воин* и твердый идеалист...»

Думаю, что после этих признаний, к которым прибавить еще можно, что К. Н. Леонтьев и «Анну Каренину» «любил и обожал» за то, что лучший из героев ее – сильный и благородный Вронский – тоже *храбрый воин*, и что один-единственный упрек Л. Толстому за содержание «Войны и Мира» покойный выражал в том, что автор осуждает здесь неоднократно «великое и сверхчеловеческое учреждение войны» – думаю, что после этого ни сам К. Н. Леонтьев, если бы он был жив, ни его друзья и поклонники не будут на меня в претензии за этот эпитет «поэта-воина». Воинственность покойного происходила не просто от личного вкуса или пристрастия, а от того, что он больше всего любил в жизни: молодость, силу, красоту и искренность, – черты, ярче всего сказывающиеся в военном быту. Если он и заблуждался, то заблуждение его шло не от мелкого сердца и не от себялюбивой гордыни; в нем могли быть виноваты только его чрезмерная живучесть среди современной апатии и горячая вера в то, что всё меньше и меньше занимает и соблазняет погрязшего в дрязгах наших будней мыслителя, чиновника и даже... его любимого – воина.

Впервые: Гражданин. 1891. 30 ноября. № 332. С. 4.

В сокращенном виде и под названием «К. Н. Леонтьев о войне и военных» вошло в сборник: *Кольшко И.* Маленькие мысли, 1898–1899. СПб., 1900. <Т. 1.> С. 512–520.

Бурная жизнь Иосифа Кольшко, яркого журналиста и талантливого дельца, завершилась в Ницце. В год написания вновь публикуемого очерка он был молодым

литератором, знакомство с которым «оптинский отшельник» К. Н. Леонтьев считал большой удачей, поскольку Колышко сразу заговорил о своей преданности и готовности исполнять любые поручения в Петербурге. Установлению их эпистолярного общения способствовало то, что оба корреспондента были открыты в своих письмах до исповедальности.

Иосиф Иосифович Колышко (псевдонимы: П. Райский, Серенький, Баян; 1861–1938), сын кавалеристского офицера из Ковенской губернии, – публицист, прозаик, яркий мемуарист; недолго – военный (в 1880–1882 гг. – корнет (с 1881 – поручик) лейб-гвардии Уланского Курляндского полка), потом чиновник и журналист, а кроме всего прочего – человек авантюрного склада. [См. о нем: *Чанцев А. В.* Колышко Иосиф Иосифович // *Русские писатели, 1800–1917.* М., 1994. Т. 3: К–М. С. 31–32; *Лукоянов И. В.* Иосиф Иосифович Колышко и его «Великий распад» // *Колышко И. И.* Великий распад: Воспоминания. СПб., 2009. С. 3–15.] По собственному признанию автора очерка «Поэт-воин», он видел К. Н. Леонтьева всего один раз – в редакции «Гражданина», когда был еще «свежеиспеченным корнетом». Следовательно, это могло быть в конце апреля – начале мая 1880 г., когда Колышко окончил Николаевское кавалерийское училище, а Леонтьев приехал из Варшавы, чтобы устроить дела газеты «Варшавский дневник», где был помощником редактора; но скорее всего встреча произошла в апреле следующего года (Леонтьев приехал в столицу уже из Москвы), потому что с князем В. П. Мещерским, в доме которого Колышко только и мог увидеть Леонтьева, «свежеиспеченный корнет» познакомился только в 1881 г. К 1890 г., когда начался их эпистолярный диалог, молодой литератор был знаком и с беллетристикой Леонтьева, но знаком весьма поверхностно – припомнить мог разве что роман в «Русском вестнике» (в письме от 23 ноября 1890 г. перепутал его название, вместо «Египетский голубь» назвал «Белый голубь», – Отдел рукописей Государственного литературного музея (далее: ГЛМ). Ф. 196. Оп. 1. Ед. хр. 148. Л. 1 об.), но после появления в летних книжках «Русского вестника» статьи Леонтьева о Толстом («Анализ, стиль и веяние»), которой был потрясен и принял как «катехизис» «для всякого молодого дарования» (Там же. Л. 2), решился написать ее автору.

Колышко – один из тех начинающих литераторов, кто обратился к Леонтьеву как к писателю и критику, «к истинному, в лучшем смысле этого слова, любителю и ценителю изящного и правдивого в литературе» (Там же. Л. 1 об.) с традиционным вопросом о своей пригодности или непригодности к писательству. Колышко посылает Леонтьеву только что изданные и рекламируемые в «Гражданине» «Записки юнкера»,

«первую свою серьезную вещь» (Там же. Л. 2), автобиографическое в основе своей произведение, подписанное одним из его псевдонимов – «П. Райский». Эта повесть могла быть несколько знакома Леонтьеву, потому что публиковались «Записки...» в газете с января 1890 г., после чего появилось отдельное издание.

«...Я описывал отчасти самого себя, – рассказывал Колышко в письме, – отчасти близких мне лиц и, во всяком случае, среду и обстановку, в которой я провел лучшие (или вернее – худшие) годы жизни, следы которых не изгладились еще и поныне. <...> Я не претендовал провести какую-либо новую идею, создать какой-либо тип – я только описываю развращающее влияние обстановки на юную и свежую душу, – влияние, которому подвержено немало начинающихся жизней и немало их на моих же глазах искалечено. <...>

Моя покорнейшая просьба к Вам, уважаемый Константин Николаевич, заключается в том, чтобы сказать мне прямо – справился ли я с этим сюжетом и насколько удачно? <...> я был бы счастлив выслушать от Вас несколько замечаний вообще о литературных недостатках моего произведения, дабы руководствоваться ими в будущем – если в будущем Вы мне посоветуете писать. *Писать или нет?* – Вот вопрос, который меня преследует. И если Вы мне ответите на него с полной искренностью, я буду Вам бесконечно благодарен» (Там же. Л. 3–4 об.).

Леонтьев ответил сначала коротко, но пообещал и подробный разбор (к сожалению, его письма, адресованные Колышко утрачены), пригласил своего нового корреспондента в Оптину и – со свойственной ему прямоотой – сразу попросил исполнить простое поручение: прислать задерживаемые, по обыкновению «беспутной» редакции «Гражданина», номера газеты. Колышко охотно откликается: «Пожалуйста, располагайте мной не стесняясь, если встретится надобность» (Там же. Л. 12; письмо от 13 декабря 1890 г.). И вот наконец пришел критический разбор «Записок юнкера», который Леонтьев писал «три утра».

Большой фрагмент из него, с автобиографическим «экскурсом» Леонтьева, Колышко привел в статье «Поэт-воин». Леонтьев не мог пройти мимо строк в письме своего молодого знакомого, который назвал годы, проведенные в корпусе, «худшими» в своей жизни. Он делится с адресатом своими заветными воззрениями на войну и военных и – неожиданно для тех, кто привык видеть в Леонтьеве «обскуранта» – признается, что современная жизнь, при всем не-сочувствии реформам и их последствиям, кажется ему «пестрее, умнее, содержательнее» дореформенной, а значит – интересной для романиста.

В начале января у Кольшко заболел скарлатиной единственный ребенок, поэтому ему было не до переписки и леонтьевское письмо-статья, отправленное до востребования, несколько задержалось на почте. Отвечал автор «Записок юнкера» 15 января юношески-порывистым (неожиданно юношеским для почти тридцатилетнего петербуржца) письмом (целиком оно приведено в нашей книге: *Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012. С. 701–703).*

...Вы дали мне именно то, чего я ждал от Вас – строгий, справедливый и искренний отзыв; огорчило – потому что он далеко не в мою пользу и главное – что вы отчаиваетесь в моем исправлении.

Но радость моя сильнее горя и вот почему: Уже одно то, что Вы посвятили мне *три* утра и почти целую критическую статью (по размерам письма) наполнило меня известного рода гордостью, весьма возможно – преувеличенную, но которой я очень дорожу и которой Вы у меня не отнимайте! Она мне принесет много пользы. Затем, радует меня и то, что Вы прибавляете в самом конце письма – что из меня выйдет прекрасный писатель, если я исправлюсь в стилистическом отношении; радует и то, что Вы ошиблись в моих годах, а главное – что Вы одобрили *содержание* моих повестей.

Дальше Кольшко рассказывает о себе – о том, при каких обстоятельствах в 22 года неожиданно стал журналистом, корреспондентом «Гражданина», а потом занялся и беллетристикой («Три года тому назад я написал первую повесть и с тех пор вот упражняюсь»).

...я еще молод и далеко не отпетый. Во мне многое еще не установилось, так много, что мне иногда даже страшно становится. Я увлекаюсь иногда самыми противоположными чувствами и мыслями, очень нервен и очень впечатлителен. Дурное и хорошее иногда одинаково воздействуют на меня, делая способным как на зло, так и на добро. <...>

Все это я Вам пишу, чтобы дать Вам надежду (если это не слишком смело с моей стороны) на исправление. «Записки юнкера» в этом отношении первая проба. Правда они писались без Вашего влияния, но *исправлялись* (для отдельного издания) целиком под Вашим влиянием, т. е. под влиянием «Анализа, стиля и веяния». И если бы Вы видели, сколько «пром<о>зглостей, сопения» и проч. было мной оттуда выкинуто – Вы бы порадовались за меня. Но я спешил; а многого просто *не мог* изменить, не нарушив общего.

То, что Вы пишете о Вашем впечатлении от этой книги, и Ваши собственные мысли о военной службе – я почти целиком разделяю. Но Вы ошибаетесь только, думая, что я хотел изобразить неприглядные стороны, вообще, *военщины*. В том-то и дело, что та школа, о

которой я писал, меньше всего *военное* заведение и *службы* там никакой нет. Это тот же лицей, Правоведение, Пажеск<ий> корпус, под разными мундирами. И быть *военным*, храбрым, выносливым, преданным престолу, там не выучиться <...>.

О *военном* быте я хочу написать повесть, которая составит продолжение «Юнкера» – «В полку». Собственно я с тем и начинал моего «Юнкера», чтобы провести его через полковую жизнь – но не успел кончить. У меня ведь есть еще Государственная Служба....

«Доктор Савельев» <Имеется в виду повесть, опубликованная в «Гражданине» 12 ноября – 20 декабря 1890 г. под тем же псевдонимом «П. Райский»>; по-видимому, Леонтьев в своем письме откликнулся на нее. – *О. Ф.*> – моя старая повесть, которую я дал Князю после окончания «Юнкера» и когда у меня буквально не было минуты свободной. Каюсь, что не исправил ее, но в оправдание могу сказать – что я *сам* почувствовал ее стилистические недостатки и с трепетом ожидал от Вас разноса. И поделом!

Ваша строгая критика, помимо плодов, какие она окажет в будущем (а я в этом не сомневаюсь), оказала в настоящем уже большую услугу; а именно: я бросил мысль издания отдельной книжкой моих рассказов до коренного выправления их «в трех водах и щелоках».

В дальнейшем Колышко успел обсудить с Леонтьевым свой фельетон о «Крейцеровой сонате» Толстого («Из дневника нервного человека») и рассказать о своих незавершенных литературных работах, заверяя при этом: «Я совершенно согласен с Вами, что мой талант, если он у меня есть, может выработаться лишь через 7–8 лет. Важно пока развивать его на надлежащем пути – а что я не зазнаюсь и не возмню себя тем, чем не могу быть, в этом даю честное слово» (Л. 9 об.; письмо от 15 апреля 1891 г.). В том, что новообретенный последователь будет внимательно следить за своим стилем, Леонтьев мог быть уверен, но гораздо больше его заботило другое – «недостаток религиозного начала».

Вы упрекаете меня в недостатке религиозного начала моих сочинений. Я с Вами согласен. Я религиозен, я даже набожен, но религиозность моя, вследствие ли молодости, недостатка твердости, или влияния лже-религиозных тенденций в современ<ной> литературе, о которых Вы говорите, такого сорта, что *боюсь* ее обнаруживать, боюсь именно потому, чтобы не встать в ту же фальшивую ноту, как и Достоевский. Я берегу ее в себе, как нечто *собственное*, с чем не могу делиться с публикой из боязни быть осмеянным толпой и не понятым. Собственно не я лично боюсь быть осмеянным, а моя вера, которую я ставлю вышекритики и чужих суждений, потому что она тот фундамент, на котором построено все мое шаткое еще зданье. <...> От времени, от опыта, от жизни со всеми ее радостями и горестями, фундамент этот должен окрепнуть сам собой. Я настолько чуток и честен *душой* (не примите это за самомнение), что, мне кажется, со временем я сумею в религии и в вере отличить фальшь

от правды не умом, а душой. Вот почему об этих вопросах я теперь думаю и *стараюсь* думать менее всего... Затем, хотя это и не относится к религиозности в истинном смысле, я должен еще Вам сказать, что я не православный – по вере, по крещению. Душой, воспитаньем, симпатиями и семьей – я православный и русский. Но родился я католиком и не могу изменить этой религии по убеждениям, ничего общего не имеющим с *католицизмом*.

(Там же. С. 703–704)

2 мая, отвечая Леонтьеву на новое письмо, Колышко объяснял:

То, что Вы говорите о моем религиозном настроении – *почти* верно. Моя вера *больше* моральная, чем догматическая, но я исполняю и догматы и исполняю их с верой. Относительно мистицизма Вы не правы – я *весьма* склонен к нему и если не мистик уже, то наверно им буду. Правда, я не уверовал еще вполне сознательно в преимущества православия над католицизмом, я даже не могу сказать – есть ли эти преимущества, но в православии я более и более начинаю себя чувствовать *дома*. Помимо тех препятствий (условных), о которых Вы говорите, принять теперь православье мешает мне *безусловно* привязанность к моим ближайшим родным – матери и сестре. Они искренние католички, и мое обращение было бы для них таким ударом, который, не знаю – пережили бы они еще. Вот что мне хочется Вам сказать *пока* по этому вопросу. Сознаю, что я выражаюсь и неясно и неполно, но ведь это тема, о которой можно только *говорить*, а не писать

(Там же. С. 704).

Но поговорить не удалось: в Оптиной пустыни у Леонтьева Колышко не побывал, хотя обещал это из письма в письмо, а из-за этого самый важный разговор – о конфессиональной принадлежности, – который в переписке был лишь начат и отложен до личной встречи, остался незавершенным. Да и само письмо от 2 мая 1891 г., возможно, оказалось итоговым в их небольшой переписке (всего известно шесть писем Колышко).

В очерке «Поэт-воин» Колышко говорит о самобытности, блеске, «подвижности природы» и «душевной свежести» Леонтьева, «изящной и великодушной храбрости» его ума, о его борьбе – «против течения» – с «общественными вкусами и идеалами», создает яркий портрет Леонтьева-собеседника, значительно более богатый деталями, чем описания, оставленные мемуаристами, гораздо лучше и дольше знавшими мыслителя. Еще одна важная тема очерка – Леонтьев и молодежь. Колышко разгадывает секрет «обаяния» Леонтьева, простиравшегося «более на молодежь, чем на

сверстников его». Это – особенности личности писателя, его собственной молодости духа и устремленности в будущее, а также то, что можно назвать педагогическим даром Леонтьева. Колышко, конечно, опирается на собственный опыт, когда замечает: «...даже самый строгий приговор его оставлял в душе более смелости, бодрости и охоты к труду, чем самая высокая похвала некоторых из современных патентованных литературных судей, признающих имеющим право на существование только то, что принадлежит к их кружку и их знамени».

Начав мыслить и творить под влиянием корифеев эпохи 60-х годов... – Точнее: 1840-х гг.; сам Леонтьев говорил о том, что в молодости испытал сильное влияние Жорж Санд, Белинского, Тургенева.

...благородной воинственностью его духа и блестящей храбростью ума. – Известно позднейшее определение, данное П. П. Перцовым одной из главных книг Леонтьева: «Учебник смелости» (см.: Дурьлин С. Н. В своем углу. М., 2006. С. 204).

...до фантастических фельетонов графа Алексиса Жасминова, с его окоченной поэмой «Хвост»... – «Граф Алексис Жасминов» – один из псевдонимов литературного и театрального критика, поэта и драматурга Виктора Петровича Буренина (1841–1926), используемый им в газете «Новое время» для пародий. См.: Гр<аф> Алексис Жасминов (В. Буренин). Хвост [и другие поэмы и пьесы]. СПб., 1891 (в том же году вышло 2-е издание; 3-е изд.: СПб., 1893).

Уже будучи монахом, он где мог и как мог проявлял свои симпатии к военному быту и военному сословию, начиная от громкого одобрения войны с ее лишениями и страданиями, кончая ношением грубых солдатских сапог. – Тайный монашеский пострига с именем Климент Леонтьев принял 18 августа 1891 г., перед переездом в Сергиев Посад, но готовился к этому все последние 20 лет своей жизни – после обета, данного в Каламарии под Салониками во время смертельной болезни. О постриге стало официально известно только во время отпевания писателя. О том, что он носил грубые солдатские сапоги, сообщалось еще при его жизни в фельетоне «Нового времени» от 7 октября 1891 г. (№ 5606. С. 2).

Сегодня он описывал святую жизнь Оптинского старца Амвросия, умиляясь его кротостью и любовью к ближнему... – Колышко подразумевает последнюю прижизненную публикацию Леонтьева – «Оптинский старец Амвросий (Из письма к редактору “Гражданина”» (Гражданин. 1891. 3 нояб. № 305. С. 2; 11 нояб. № 313. С. 2;

см.: Т. 6, кн. 1. С. 805–816), а также посвященные Оптиному старцу страницы книги «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни» (1879).

...а завтра находил, что только война может очистить наши мысли, нравы и вкусы, только в ней национальный рост и сплочение государства. – Эта мысль в разных вариациях действительно звучала в леонтьевских статьях 1880-х гг.

...проповедовал ~ всемирную революцию... – Леонтьев скорее не «проповедовал» «всемирную революцию», но пророчествовал о ее скором приближении. Кстати, однажды он с большой точностью предсказал, что реакция в России продлится «еще лет 25», и этот срок истек в 1916 г. (см.: Тихомиров Л. А. Тени прошлого // К. Н. Леонтьев: pro et contra: Антология: В 2 кн. М., 1995. Кн. 2. С. 9). Колышко в своей фразе намекает на название одной из больших статей Леонтьева, о которой см. ниже.

...чистоты стиля и подлинности веяния в искусстве. – Аллюзия на название последней и наиболее крупной работы Леонтьева – эстетика и критика («Анализ, стиль и веяние»; см. ниже). Термин «веяние» был заимствован Леонтьевым у Ап. А. Григорьева.

Душа – Скобелева... – Герой русско-турецкой войны, генерал Михаил Дмитриевич Скобелев (1843–1882) принадлежал к числу исторических деятелей, которым особенно симпатизировал Леонтьев. См.: Леонтьев. Т. 5. С. 930–931.

...его бы сделали или гением, или... сумасшедшим. – Ср. с сохранными в дневнике И. Л. Леонтьева-Щеглова, общавшегося с К. Леонтьевым в Оптиной пустыни летом 1891 г., словами последнего: «Считайте меня сумасшедшим стариком – но вот моя мысль. У турок сумасшедших считают сумасшедшими – а у нас пророков – считают сумасшедшими» (цит. по: Фетисенко О. Л. «Гептастилисты». С. 689). По смыслу контекста, начало фразы записано в спешке и должно читаться так: «У турок сумасшедших считают пророками...»

...в узком кружке почитателей, между которыми, однако, больше молодежи, чем его сверстников. – Кружок учеников и почитателей сложился вокруг Леонтьева в начале 1880-х гг. в Москве, состоял из выпускников и воспитанников Катковского лицея и Московского университета. Первоначально он насчитывал 10–15 человек, потом почти распался, но иногда получал и ценное пополнение – прежде всего в лице И. И. Фуделя, ставшего впоследствии издателем первого собрания сочинений Леонтьева. О кружке см. третий раздел монографии: Фетисенко О. Л. «Гептастилисты»: Константин Леонтьев, его собеседники и ученики. СПб., 2012.

Я был в 2-х гимназиях... – Леонтьев в 1841–1842 гг. учился в Смоленской гимназии, а в 1844 г. поступил в третий класс Калужской гимназии, которую закончил в 1849 г. См. его записку «Хронология моей жизни» (1883): *Леонтьев*. Т. 6, кн. 2. С. 28.

...был 1 год в дворянском полку... – Дворянский полк – военно-учебное заведение, созданное в Петербурге в 1807 г. при 2-м Кадетском корпусе как Волонтерский корпус; название «Дворянский полк» получил в 1808 г., в 1850-х гг. преобразован в Константиновский кадетский корпус, с 1859 г. – Константиновское артиллерийской училище; размещался на Забалканском проспекте (современный адрес: Московский пр., д. 17). Кадетом Дворянского полка Леонтьев был в 1843–1844 гг.

...был студентом-медиком... – В 1849 г. Леонтьев поступил в Демидовский лицей в Ярославле, но был разочарован этим учебным заведением и в ноябре того же года перешел на медицинский факультет Московского университета. Во время Крымской войны, весной 1854 г., он сдал «выпускной экзамен без 5-го курса» (*Леонтьев*. Т. 6, кн. 2. С. 29) и стал военным врачом.

...был во время войны военным врачом и жил неотлучно с военными в течение 3-х лет... – О службе Леонтьева в Крыму см. подробные примечания в указанном томе.

...жил и помещичьей жизнью... – Леонтьев подразумевает здесь скорее не жизнь в маленьком имении Кудиново, а два года проведенных в богатом нижегородском имении баронессы М. Г. Розен Спасское, где он был врачом и домашним учителем.

...был консулом в Турции... – На службу в Министерство иностранных дел Леонтьев поступил в 1863 г. После нескольких месяцев, проведенных в Азиатском департаменте, он получил назначение секретарем консульства на Крите, затем служил последовательно секретарем в Адрианополе, вице-консулом в Тульче, консулом в Янине и с 1870 г. в Салониках.

...последние 20 лет нахожусь в тесных сношениях с монахами... – Леонтьев подразумевает монахов Св. Горы Афон и Оптиной пустыни.

...знал, конечно, мимоходом и кружки ученых, и литераторов... – В начале 1850-х гг. Леонтьев посещал в Москве салон гр. Е. В. Салиас де Турнемир в ее доме на Садовой-Кудринской ул., где встречал Т. Н. Грановского и других профессоров университета; в Петербурге Леонтьев тесно общался с кругом К. Н. Бестужева-Рюмина, есть сведения о его знакомстве с Д. И. Менделеевым и др.; в 1869 г. посещал кружок литераторов, связанных с почвенническим журналом «Заря».

...и совершенно согласен с Л. Толстым, что общество последних – хуже всего. – Леонтьев, лично знакомый с Толстым, мог опираться здесь на его устное суждение (последняя их встреча состоялась в Оптиной пустыни 14 февраля 1890 г.).

...пользовался покровительством Тургенева и благосклонностью гр<афа> Салиаса, Грановского, Каткова, Кудрявцева... – В «Гражданине» нередко были опечатки, поэтому с большой уверенностью можно утверждать, что здесь также допущена небрежность, а в письме Леонтьева говорилось несомненно не о графе, а о графине Евгении Васильевне Салиас де Турнемир (1815–1892), упомянутой выше как хозяйка литературного салона, – писательнице, выступавшей под псевдонимом «Евгения Тур». *Кудрявцев* – Петр Николаевич Кудрявцев (1816–1858), историк, профессор Московского университета.

...в общество донских казаков, с которыми долго служил в степи на аванпостах. – Наскучив службой в госпитале, Леонтьев добился, чтобы его прикомандировали к 65 Донскому казачьему полку (в своих мемуарных произведениях он ошибочно называет другой номер полка – 45). Этому времени посвящен его красочный очерк «Сдача Керчи в 55 году (Воспоминания военного врача)» (1887).

...консерватизм и реакция 70-х и 80-х годов несравненно умнее и глубже консерватизма 40-х годов... – Ср. в письме к Н. А. Уманову от 22 сентября 1889 г.: «...Идеи, вкусы, веяния и молодые люди 80-х годов несравненно лучше людей 40-х... Несравненно! <...> Никогда еще образованные люди в России не стремились так к Церкви, как теперь!» (РГАЛИ. Ф. 290. Оп. 1. Ед. хр. 43. Л. 18 об.).

Филарет – Филарет (в миру Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867), митрополит Московский (с 1826); канонизирован Русской Православной Церковью в 1995 г.

Надо их всех бросить и смотреть на жизнь своими глазами... – На эти слова Кольшко отвечал Леонтьеву 15 января 1891 г.: «О чтении Толстого, Тургенева и проч<их> я могу вот что сказать: я люблю их не за стиль, хотя, бесспорно, мимо воли заимствую их стилистические недостатки. Я люблю в них яркость картин, сочность красок, как любят солнечный день и пейзаж согретый горячим лучом. Тот же пейзаж под хмурым небом, хотя бы и освещенный более ровно и правильно, мне антипатичен – так я понимаю свою нелюбовь к Достоевскому. Это неясно, но я здесь в письме иначе объяснить не могу. Во всяком случае, последую Вашему совету и не дотронусь до них насколько возможно долго» (цит. по: *Фетисенко О. Л.* «Гептастилисты». С. 703).

...вошедших и не вошедших в сборник «Восток, славянство и Россия», коего 2-й том он собирался издать перед самой смертью. – Двухтомный Сборник статей Леонтьева, вышедший в Москве в 1885–1886 гг., носит название «Восток, Россия и Славянство». В 1890 г. задумал издание третьего (а не второго, как полагал Колышко) тома, но этот замысел не был осуществлен.

...перед теми, кто за «родину и веру» готовы положить свой живот. – Аллюзия на слова заупокойной молитвы о воинах, «за веру и отечество живот свой положивших» и на кадетскую строевую песню «Как ныне собирается вещей Олег...», в которой к строфам пушкинского стихотворения прибавлялся припев, завершающийся словами: «Так за Царя, за Родину и веру / Мы грянем громкое “ура, ура, ура”!»

Трудясь последние годы в затворничестве... – В феврале 1887 г. Леонтьев, служивший с декабря 1880 г. цензором Московского цензурного комитета, вышел в отставку, а в мае, дождавшись оформления пенсии, переехал с женой и семьей слуг-воспитанников в Оптину пустынь, где снял дом, быстро получивший у насельников монастыря название «консульского» (по прежней должности нанимателя). Жизнь здесь действительно была затворнической, особенно если вспомнить, что Леонтьев по болезни с ноября по апрель не покидал дома. В октябре 1887 г. Леонтьев начал для газеты «Гражданин», ставшей как раз тогда ежедневной, цикл статей «Записки отшельника». С тех пор его (кто с почтением, кто с иронией) стали часто называть «оптинским отшельником».

«Национальная политика как орудие всемирной революции» – статья Леонтьева, впервые опубликованная в «Гражданине» (1888. 14 сент. – 7 окт. № 265–279; см.: Леонтьев. Т. 8. Кн. 1. С. 497–548). Ее продолжение: «Плоды национальных движений на Православном Востоке» (1888–1889). Планировалась и третья, завершающая, часть цикла, но она не была написана.

...критико-философский этюд «Анализ, стиль и вяние». – Статья, впервые опубликованная в «Русском вестнике» (1890. № 6–8) и «Гражданине» (1890. 8 июня. № 157. С. 1; 9 июня. № 158. С. 1; первая глава, отвергнутая редакцией «Русского вестника»). См.: Леонтьев. Т. 9 (в печати).

Оба эти произведения, как и следовало ожидать, прошли у нас совершенно незамеченными... – Это не совсем так. Обе указанные статьи вызывали несколько откликов; см.: Леонтьев. Т. 8, кн. 2. С. 1136–1141.

...но оба они ~ будут вновь перечитаны и лучше поняты... – Со статьей о Толстом так произошло через 20 лет – после ее переиздания отдельной книжкой (М.,

1911) и затем – после открытия ее «формалистами» (Б. М. Эйхенбаумом и В. В. Виноградовым).

...«Великая заслуга “Войны и мира” ~ располагает к военному героизму за родину...» – Цитата из статьи «Анализ, стиль и веяние».

...«Историческая или, точнее сказать, прямо политическая заслуга ~ храбрый воин и твердый идеалист...» – Цитаты из той же статьи.

...К. Н. Леонтьев и «Анну Каренину» «любил и обожал» за то, что лучший из героев ее – сильный и благородный Вронский – тоже храбрый воин... – Появлению большой работы о Толстом в 1888 г. предшествовала статья «Два графа: Алексей Вронский и Лев Толстой» (Гражданин. 1888. 15–28 янв. № 15–28), в которой Леонтьев утверждал: «Без этих Толстых (то есть без великих писателей) можно и великому народу долго жить, а без Вронских мы не проживем и полувека. Без них и писателей национальных не станет; ибо не будет и самобытной нации» (Леонтьев. Т. 8, кн. 1. С. 306–307).

...един-единственный упрек Л. Толстому за содержание «Войны и мира» покойный выражал в том, что автор осуждает здесь неоднократно «великое и сверхчеловеческое учреждение войны»... – Цитата из статьи «Анализ, стиль и веяние».